

Виктор Кротов

Материал

Рассказы и повесть



Виктор Кротов

Материал. Рассказы и повесть

«Издательские решения»

Кротов В. Г.

Материал. Рассказы и повесть / В. Г. Кротов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832900-5

Сюда включены рассказы и документальная повесть, относящиеся к последним десятилетиям XX века. Реалистические истории граничат с притчами, притчи порою приобретают аллегорический вид, воспоминания обладают публицистической тональностью. Но всё сосредоточено на проблемах развития человека и его ориентации в внутреннем и внешнем мирах.

ISBN 978-5-44-832900-5

© Кротов В. Г.
© Издательские решения

Содержание

Крошечное предисловие	6
Часть 1. Рассказы	7
Через подземелье	7
Золотой Будда	11
Материал	13
Трёхстишие	16
Мяугли	20
Место под солнцем	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Материал Рассказы и повесть

Виктор Гаврилович Кротов

© Виктор Гаврилович Кротов, 2017

ISBN 978-5-4483-2900-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

На обложке: картина Валерия Каптерева «Закат на Кадашевской».

Крошечное предисловие

Здесь собраны истории, которые мне удалось написать до окончательного ухода в сказки и притчи, в афористику и философию, в семейную и сочинительскую педагогику. Большинство из них относится ко второй половине XX века, то есть к советским временам и, частично, к первому послесоветскому десятилетию.

Не совсем все истории реалистичны по форме, но для меня все они были основаны на совершенно реалистичном жизненном опыте.

Часть 1. Рассказы

Через подземелье

Пусто в метро. Ни пассажиров, ни дежурных, ни уборщиц. Совершенная тишина. Он идет по узкому коридору между двумя рядами колонн станции «Семеновская». Коридор заканчивается плавным углублением в стену, легкий изгиб которого выложен узкими пластинками светлого мрамора. Он проводит рукой по этому изгибу – и стена тает под рукой. Впереди тянутся темно-красные со светлыми прожилками стены «Электрозаводской», но посреди вестибюля поднимается щедро расцвеченная колоннада станции «Речной вокзал»: неповторяющиеся фиолетовые пятна с жемчужной оторочкой по краям. И дальше, дальше... Серые разводы «Курской». Желтоватые тона «Шоссе Энтузиастов», темнеющие от одного конца станции к другому. Зигзаги тонких надломанных линий на ласковом лиловом мраморе «Новокузнецкой». Анфилада станций уходит в неизвестную даль, в непонятную тишину, и волшебный камень московского подземелья цветет, не увядая, в ровном поле электрического света.

Он идет в невыносимом одиночестве, словно парит в невесомости, и тихо радуется знакомым отблескам...

* * *

Размахивая гантелями, заваривая чай и поливая цветы (немыслимо было начать завтракать, не слыша удовлетворенного почмокивания в горшках на столе), он всё ещё хмурился от утреннего света, нахлынувшего на смену искусственным огням сновидения. И когда, несколько часов спустя, он закончил дневную часть своей работы, вышел из дома и оказался в мраморном подземелье, сон припомнился снова. Те же узоры, те же отблески. Не было лишь того одиночества, каким поразил его сон. И уже не хватало времени вглядываться в узоры и отблески. Ему необходимо было до начала своего вечернего дежурства хоть на десять минут увидеть её, ту девушку, о существовании которой он не знал ещё неделю назад. Да и сейчас мог только пытаться угадать: она ли это? Та, кого ждешь долгодолго и встречаешь, наконец, если повезло, как разгадку самого себя?.. Увидеть хоть на десять минут. Шагнуть навстречу, поздороваться и пойти рядом, небрежно роняя бережно выношенные в одиночестве фразы...

Спешил он привычно. Он сам создавал себе такую необходимость, выходя чуть попозже, в обрешетку, чтобы меньше времени занимала дорога и больше оставалось на дело. Важно было и другое, может быть главное: скорость помогала вырваться из толчеи, из толпы, оставляя её позади себя.

Сбежал по эскалатору, скользя портфелем по поручню – чтобы не задевать сумки стоящих справа. Прислонился к знакомой нише, облицованной прозрачно-белесыми плитами в желтоватых полосах. Напротив этой ниши оказывалась, когда замирал поезд, вторая дверь третьего вагона.

Вот и поезд. Лучшее место у входа занято (место *прим*, как он привык называть его про себя): справа от двери, у боковой спинки сиденья. Ему нужно было, разумеется, не сидячее, а стоячее место, такое, с которого можно раньше всех устремиться к выходу или к переходу, когда доедешь до своей остановки. Занято было и место визави – у левой половинки двери, которая начинает открываться чуть позже правой. Только эти два места гарантировали устойчивость против потоков входящей и выходящей толпы. Пришлось встать рядом с местом *прим*, у той же спинки сиденья, но немного дальше от двери. Это было место *на подходе*, где тоже можно было при определенном навыке выдержать натиск входящих и суетливую торопливость

выходящих. Если владелец места *прим* выходил раньше, можно было тут же стать его преемником.

На следующей остановке никто не вышел и мало кто вошёл. Высокий толстощекий красавец с обвислыми усами, стоящий на месте *прим*, выходить не собирался. Стреляющая глазками остроносая девица, занимающая *визави*, тоже. Поэтому за остановку до пересадки пришлось сделать *ложный выход*. Иначе затолкали бы вглубь вагона – слишком много здесь садится народа. Вышел. Встал в сторонку, уступая остальным возможность войти. Кто-то удивленно оглянулся, обратив внимание на неуместную в этой суете и потому раздражающую вежливость. Кто-то благодарно кивнул. А вот тройца мальчишек в пухлых куртках заняла демонстративно выжидательную позицию. Значит, им тоже пересаживаться на следующей, на «Курской», и они собираются переждать конкурента, чтобы войти последними и остаться первыми у дверей. «Нет, дорогие, я спешу», – мысленно произнес он. – «И рано вам ещё с мной тягаться». Когда все, кроме него и трех парней, зашли в вагон, он, не устраивая борьбу нервов, шагнул внутрь и заметил, покосившись, три победные ухмылки. В последнее мгновение парни бросились в дверь, уминая всех вглубь вагона (он называл это *забеганием с нахрапа* и никогда не прибегал к таким вывертам). Встав боком с краю, отгородившись спиной от мальчишек и подавшись немного в сторону, он пропустил их мимо себя и, как только дверь начала закрываться, спокойно развернулся, сопровождая этим поворотом её отгораживающее движение. При этом его плечо мягким клином отодвинуло назад, за спину, не ожидавших такого финта мальчишек. *Разворот тореро* почему-то называл он этот прием, перед которым было бессильно проведенное ребятами *уплотнение публики*. Благодаря неожиданности, он смог даже податься к центру двери, откуда быстрее всего выходить, и смог прижать к створкам свой портфель. Теперь портфель помешает отеснить его с *центральной* позиции, что вполне могли попробовать предпринять мальчишки, и не станет тормозом при выходе, когда люди начнут беспорядочно тесниться, мешая себе и другим.

Парни за спиной обескуражено посопели, но вскоре захихикали и стали игриво тыкать друг друга кулаками под ребра. В темном зеркале дверного стекла он видел их подвижные физиономии, на которых мелькали, ещё не впечатавшись навсегда, дурашливые гримаски. Он прикрыл глаза и попытался вспомнить ее лицо. Невозможно. Помнился только взгляд, открытый, веселый и ласковый. В него хотелось уйти навсегда, безвозвратно. Это был взгляд, обращенный к нему, только к нему и ни к кому другому. Взгляд, освобождающий от тех многочисленных шестеренок, среди которых вращалась его жизнь. Взгляд, который...

Поезд затормозил. Толпа перед дверью заколыхалась, готовясь к выходу. Парни, подпихивая друг друга кулаками, предвкушали новый рывок вперед. Он прекрасно знал, что они сейчас с гиканьем ринутся вниз по лестнице, пробегут, скользя по гладкому полу, десяток метров и сразу же забудут, что спешили, сменив бег на шаткую ленивую походку. Сам он обычно сбегал по лестнице, используя услужливую силу тяжести, но по коридору шёл спокойным быстрым шагом: этого хватало, чтобы уйти от толпы. Однако сейчас, ещё до того, как открылась дверь, он заметил, что только что отъехал поезд с противоположной стороны станции. Значит, лестница перехода заполнена народом, причем теми, кто идет последними: шаркающими старушками, степенными мужиками и тетками, волочащими невероятные хозяйственные сумки. Здесь спешить было некуда. Он называл эту ситуацию – *встать в хвост*.

Двери открылись, мальчишки с гиканьем рванулись вперед, но уткнулись в толпу на лестнице и стали вертляво протискиваться между бабками, тетками и мужиками. Он не спешил. Подметив, где идут несколько человек поэнергичнее, он старался держаться ближе к этому месту. Действительно, здесь и убыстрился ход толпы – и вот ему уже удалось выйти *на стрежень*, на середину коридора между двумя пульсирующими людскими потоками. Идти быстро можно было только здесь, лавируя между теми, кто движется по краю попутного потока, и бесстрашно направляясь на *мнимое столкновение* с идущими по краю потока встречного, свора-

чивая в сторону или притормаживая лишь в самый последний миг. Он с любопытством заметил, что вслед за ним кто-то пристроился, как и он сам любил пристраиваться за быстро идущим попутчиком, про себя называя его *людоколом*. Но вот и кольцевая. Сбежав с широкой лестницы в довольно свободный зал, он строго по диагонали направился к тому концу платформы, где причаливала первая дверь последнего вагона. Пристроившийся к нему в переходе человек остановился там же.

Почти сразу прибыл поезд. Те, кто вошёл вместе с ними, торопливо расселись по свободным местам. Увидев, что *прим* и *визави* заняты, он прошёл к противоположной двери и встал там в уголке, в *глубинке*, как гласила его внутренняя терминология. Его нечаянный спутник встал в *тупичке*, у двери, ведущей от вагона к вагону. «Общность вкусов», – усмехнулся он про себя. Если бы место в *глубинке* было занято, он тоже пристроился бы в *тупичке*. Парень был примерно его возраста – разве что на год или на два ближе к тридцати. Лицо хорошее, хотя ничем особым не примечательное. «Как у меня, наверное», – подумал он. – «Вот только очков мне не хватает. Тут он меня обскакал».

Чем меньше оставалось ехать, тем быстрее неслись мысли.

Как она его встретит? Да и ждет ли она этой встречи, ведь не было вчера у них никакого уговора... Он же ничего про нее толком не знает. Может, она договорилась после работы в кино идти с каким-нибудь своим ухажёром. Или даже с женихом. Хорош он будет, появившись без предупреждения. Ну да, вполне возможно, что этот самый ровесник в очках едет именно к ней – туда же, к тому же часу. И общность вкусов опять-таки... Тогда это не шанс, не чудо, бороться он не умеет. Тогда, значит, обознатушки-перепятушки... Подумаешь взгляд! Может, взгляд у нее от природы такой и лично к нему никакого особого отношения не имеет. Взгляд...

Поезд затормозил. На следующей надо будет выходить. Чтобы занять нужное место у двери, он привычно отправился на *ложный выход*, краем глаза заметив, что воображаемый соперник выходит здесь, а значит нечего надумывать себе разную ерундистику. Он отошёл в сторону, пропуская входящих, и вдруг пожегся: очкарик тоже отступил в сторону, ожидая, пока все войдут. Идиотская симметрия! Он сделал вежливый жест, приглашая соперника заходить. Этот прием назывался у него *хозяйским гостеприимством*. Тот хитро прищурился, вошёл – и вдруг, как только дверь начала закрываться, потеснил гостеприимного хозяина плечом, решительно и четко проведя *разворот тореро*. Пришлось довольствоваться *левой позицией*, уступив очкарику *правую*: значит выходить придется не первым, вторым. Неприятное предзнаменование.

Он прислонился лбом к стеклу. Лёгкая прохлада освежила голову. И показалось, что холодок потек дальше, к сердцу. Неужели его дурацкое, невероятное предположение материализуется, словно в научно-или-не-научно-фантастическом рассказе? Неужели этот двойник, отличающийся от него только близорукостью-или-дальнозоркостью, сейчас заслонит от него своей спиной, своим затылком выводящий на свободу путь?..

Поезд затормозил. Очкарик вышел первым и уверенным шагом направился по кратчайшей траектории к эскалатору. Выйдя вторым, он автоматически пристроился вслед за этим своим *людоколом* (поменялись ролями), уже не соображая, стоит ли идти дальше.

Рок работал неумолимо. Очкарик, выйдя из метро, повернул в ту самую сторону.

Вот уже знакомая проходная с электрическими часами, показывающими конец рабочего дня. Вот ручеек пёстрых девиц, среди которых он издали видит её желтую курточку (а очкарик видит? он всё-таки близорукий или дальнозоркий?). Это она, и она оглядывается, высматривает кого-то, а с ним она толком о встрече не договаривалась, значит всё же это... кто? неужели невероятный роковой очкарик?.. зачем же подходить и создавать нелепую сцену, но тот почему-то идет мимо, проходит, уходит, а она продолжает кого-то высматривать – и вдруг бежит к нему, берет его за рукав, смотрит ему в глаза невообразимым своим взглядом,

открыто, весело, ласково, и говорит то, что даже и придти не могло в его дурацкую голову:
«Господи, я так соскучилась!..».

Золотой Будда

– Отличный обед, – словно немного удивившись этому, сказал Джон Дэффер и отпил ещё глоток клубничного ликера. Он помолчал, наслаждаясь ароматом напитка, и повернулся к приятелю, доедавшему золотистый кружок ананаса:

– Такое удовольствие, по-моему, не стоит заглушать даже застольными беседами. Помнишь пир в «Шагреновой коже», а?..

Приятель миролюбиво кивнул, не отрываясь от ананаса, и ничего не ответил – в полном соответствии с услышанным.

Но Джон Дэффер, коммерческий представитель фирмы «Стоунг и Ко» в республике Индии, не нуждался в ответе. Он откинулся на упругую спинку кресла и с удовольствием вспоминал только что прошедшую перед ним гастрономическую симфонию.

Катманха бросил последний взгляд вокруг себя. Он чувствовал себя неотделимой частицей мира, раскрывающегося перед глазами. Дерево, одно из многих обвитых лианами деревьев, кора которого напоминает струи застывшей лавы. Ветка, одна из многих ветвей, причудливо изгибающихся и расходящихся от ствола, как множество рук танцующего бога. Лист, один из многих глянцевого цвета. Все это жило, дышало, сплеталось; одно возникало из другого.

Катманха закрыл глаза.

Джон Дэффер закурил сигару. Несколько минут назад он утопал в горячем ласковом теле своей любовницы. До сих пор ещё он был намагничен прикосновением её гладкой кожи, и табачный дым смешивался с тонким запахом её духов.

Теперь он чувствовал себя окончательно сытым.

Катманха был погружен в темноту. Теперь его слух обнимал пространство, проникаясь, как до этого зрение, его полнотой. Далекие голоса крестьян, пение птиц, пронизанное то их птичьей радостью, то беспокойством. Шорохи травы и листья в ответ на мягкие порывы ветры. Звук воды, перекачиваемой камушки по дну текущего поблизости ручья.

В этот миг Катманха был причастен к той музыке мира, корую человек ещё не в силах понять: он может лишь приникать к ней. Но Катманха должен был идти дальше, и он приказал себе перестать слышать.

Джон Дэффер резко погасил мяч в угол, и игра закончилась.

Он глубоко дышал – не тяжело, но полной грудью вбирая теплые струи воздуха. Ветерок казался прохладным, когда касался его горячих щек. Игру он выиграл, и удовлетворенность победителя сливалась с усталой радостью размявшихся мускулов.

Дэфферу принесли запотевший бокал вкусного густого лимонада, и он осушил его залпом, подмигнув повисшему в небе жаркому индийскому солнцу.

Катманха по-прежнему чувствовал себя каплей океана жизни.

Он словно видел и слышал те легкие изменчивые вздохи ветра, которые мягко касались его полуобнаженного тела. Он вдыхал растворенные в воздухе запахи земли. Ароматы цветов и трав сменялись, возникали снова и поддерживали друг друга, как раньше – птичьих голоса. Катманха улавливал и влажность ручья, и накатывающие время от времени лесные волны...

Это опять был целый мир, но опять ему этого было мало.

Катманха перестал ощущать.

– Фирма весьма сожалеет, но изложенные выше соображения не позволяют нам предпочесть ваш проект договора тому, который был выдвинут фирмой ранее... Дальше, Полли, кончите, как обычно... Алло? С закупкой второй партии придется подождать. Нет, пока не отказывайтесь...

Джон Дэффер подписал письмо и снова снял телефонную трубку.

Он был образован и умен. В колледже он увлекался языками – от французского до санскрита. Наверное, отзвук этого юношеского интереса примешался к интересам фирмы, когда Дэффер согласился отправиться в Индию. Но подлинным своим призванием он считал бизнес. Необходимость ориентироваться в хитросплетении переменчивых ситуаций, потребность обыгрывать и выигрывать наполняли его жизнь смыслом. Среди его обязанностей не было таких, которые он считал бы пустыми и ненужными.

– Алло! Соедините меня с начальником таможи...

Теперь Катманха чутко и пристально вглядывался в джунгли своих мыслей. Он не был их рабом или повелителем – он был их другом. Очищаясь и развиваясь, порождая друг друга, мысли, образы, постижения вспыхивали и озаряли его Путь, тот единственный путь, которым мог идти и шёл Катманха.

Но постепенно одна звезда разгоралась всё ярче, превращаясь в светило, сияющее неземным светом. Путь был пронизан этим светом, становился лучом, исходящим от светила и ведущим к нему.

Катманха проникся Брахманом.

Джон Дэффер задумался, решая судьбу золотого Будды. Эта статуэтка была куплена им на основную часть его капитала. Вынутая осторожно из сейфа, она стояла сейчас посреди стола. Золото повышалось в цене, антикварные реликвии тоже, но кто знает, долго ли это будет продолжаться. Капитал, не пущенный в оборот, тяготил Дэффера.

Он был равнодушен к золоту, к чекам, к ассигнациям. Его представление о деньгах было иным. Деньги как аккумулированная энергия, как воплощение потенциальных возможностей, как символ достигнутого, как олицетворение силы – вот что привлекало Дэффера!

Задумавшись, он сильно сжал фигурку, и вдруг в резном деревянном основании распахнулась узкая дверца. В небольшом углублении лежал свиток из тонкой бумаги. Дэффер осторожно развернул его и узнал санскрит...

Катманха проникся Брахманом. Океан жизни для него не исчез – он возник вновь, названный по-другому. В этом океане, в Брахмане, Катманха уже не был отдельной частицей – он был растворен в нем. Катманха был Брахманом. Брахман был Катманхой. Но и это была не цель. Это был всё тот же Путь – более великий, чем сама цель. Он был богат, этот путь, настолько богат, что можно было позволить затеряться в темноте подсознания его пройденной части – и тем более тому далекому прошлому, когда Катманха ещё не вышел на свой Путь, когда он был Джоном Дэффером.

Материал

Этого человека я увидел издали. Толпа на площади циркулировала густыми и плавными потоками, которые порою перекрещивались и растворялись друг в друге, но никогда не исчезали. Невысокий, с белесыми усами и бровями, старый и неукротимый, он словно создавал свои законы, никак не соотнесенные ни с течениями толпы, ни с правилами уличного движения. Он шёл, глядя на меня, к тому месту, где мы должны были с ним встретиться. Когда это произошло, когда я застыл перед ним, прикованный его вниманием, стало понятно, что это он увидел меня – наверное, намного раньше, чем моё «издали».

«Я художник. Не сможете ли вы мне позировать? Мне нужно три часа вашего времени». Я не почувствовал себя ни польщенным, ни обеспокоенным. Все неотложные дела под его взглядом истончились и тихо рухнули, как ажурный навес весеннего сугроба. «Могу», – вдруг сказал я безропотно. Кивнув мне, он тут же зашагал прочь, за угол, в переулок. Отправившись вслед, только теперь я заметил, как он одет. Косо висящее на плечах толстое пальто, облезлая ушанка, бесцветные ботинки из окаменевшей кожи...

Мы поднялись в мастерскую – до последнего этажа и ещё по лесенке. Нигде никаких картин. Табуретка. Кресло. Какое-то сооружение из двух плоскостей – горизонтальной и вертикальной – на прочном дощатом постаменте. Самодельный шкаф во всю стену, со множеством дверей. Стекланный потолок. Огромное окно, выходящее на грязно-красную крышу, по которой разбросаны башенки и мансарды. Крышу перекрашивали в свежий зеленый цвет: у граничной полосы стояли ведра с краской и кистями.

В углу мастерской находился ящик, который я заметил лишь тогда, когда старик, не прося моей помощи, с усилием выдвинул его к постаменту. Он вытащил оттуда большую тяжелую глыбу золотисто-коричневого цвета. Так и не позволив мне подойти на помощь, старик воздвиг глыбу на постамент, на горизонтальный лист пластика или прессованного картона, от которого стенкой поднимался вертикальный. Я успел заметить, что на листах уже было что-то изображено – некие контуры, цветовые пятна, загадочные линии. Но всё моё внимание привлек материал.

Что это была за глыба? Она походила на очищенный комель темного дерева. Или это был камень? Или нечто иное, мне не известное? Был старик живописцем или всё же скульптором, а «художник» сказал о себе широко, без заботы уточнить специализацию? Все эти вопросы пришли потом, а тогда старик махнул мне на кресло и начал работать.

Начал работать.

Он распахнул несколько дверок шкафа возле своего сооружения, и мастерская стала мастерской. В одном отделении сверкали сверла и фрезы маленьких механизмов, что-то вроде бормашины, с гибкими шлангами, тянувшимися вслед – когда мастер брал их для работы.

Потом он делал легкое движение – словно отпускал машинку на волю – и шланг втягивался обратно в отверстие, видневшееся в глубине шкафа, машинка прилипла к своему прежнему месту, и тихое гуденье умолкло. Изнутри на дверцах висели стамески и долота, молотки и молоточки, пилки и напильники, разнообразные зубила, шила и прочие инструменты. Все это было в работе – вот почему я так и не мог понять, что за глыба возвышалась перед скульптором. Материал то звенел, то колелся, то мягко сорил опилками, то мялся и тянулся.

Были и другие отделения в шкафу. Одно, уставленное бутылками, банками и флаконами, напоминало химическую лабораторию. Другое представляло собой самый плюшкинский из чуланов, полный разрозненных деталей, обломков, кусков и обрывков. В третьем,

наконец-то, стояли кисти в кувшинах и хранились краски: в тюбиках, в банках и в коробках. Еще в одном отделении стояла небольшая муфельная печь под вытяжным устройством. А сколько бы ещё закрытых дверок!..

Мы не молчали. Не помню, что говорил он, хотя что-то, наверное, говорил, вызывая меня на разговор. Иначе как объяснить столь необычную для меня словоохотливость, перешедшую чуть ли не в исповедь жизни? Но чаще он поддерживал меня междометием или жестом. Взгляд его, открытый навстречу, был бесстрастно внимателен и по-родному добр. Мы не молчали, и всё же я не помню ни одного слова, сказанного им, – как не помнится нежный словопад долгого свидания с любимой.

Уследить за работой было невозможно. То старик углублялся в свой хлам, выискивая нечто необходимое, чему суждено было раствориться в целом, то обтачивал цветное стеклышко или изгибал латунную полоску, то готовил у вытяжного шкафа какой-то состав. Но в мастерской царил постамент с материалом. С ним, с Материалом, шло основное сражение.

Тонкие пальцы рук, чуткие, как у слепого, не доверяя глазам, припадали к поверхности материала, вникали в него, примерялись к нему – и вдруг, словно обоженные вспыхнувшим пониманием, взлетали над ним и, сжав нужный инструмент, вонзались, не медля, с чистой уверенностью в нужную точку. Материал вздрагивал, потрясенный рассчитанной болью, и менял форму. Победенный, он разделял с художником его победу.

Иногда материал не уступал в борьбе – ни мастеру, ни предугаданному своему назначению. Он словно ещё больше тяжелел, наливался угрюмостью, и поверхность его оказывалась пустой и бессмысленной. Тогда старик внезапно успокаивался, становился мягким и терпеливым. Он долго доводил и подшлифовывал ясные ему линии или, взяв палитру и кисть, наносил новые мазки на плоскости, между которыми была заключена будущая скульптура и которые постепенно становились необходимыми гранями её существования. Ворчливой усмешкой ответил он на мой вопрос об их назначении: ведь не может он разрисовывать пол, на котором будет стоять его вещь, или стену, на фоне которой её будет видно...

Но вот что-то совершалось – и снова возникало беспокойство. Неспешный ли труд мастера во время затишья был тому причиной или что другое, но материал наконец оживал, словно спохватившись, что не допит им ещё напиток бессмертия, и вновь, упорствуя и сопротивляясь, медленно поддавался силе и нежности внимательных рук.

Время от времени старик жестом отсылал меня к отдаленной дверце шкафа, и я послушно шёл туда, чувствуя на себе его взгляд, уже ставший привычным, соединяющий старика, материал и меня в нечто единое. Я доставал хлеб, яблочный сок и миску с сушеными фруктами, размещал всё это на табуретке между креслом, где я должен был пребывать, и постаментом, вокруг которого действовал художник, и мы ели, почти не замечая этого. Потом, повинаясь новому мимолетному взмаху, я относил всё обратно, чтобы не было на путях взгляда – от него до меня – ничего лишнего.

Три часа?.. Ещё три?.. Еще сколько?..

Что вывело меня из непонятого полузабвения, в какое впадаешь, лежа на донорском столе и следя за стеклянной трубочкой, где видна твоя кровь – уже не твоя?..

Всё закончилось.

Прозрачный потолок давно потемнел. В мастерской горели несколько ламп. На фоне заполнившего верхнюю часть окна коричневатого городского неба, отороченного электриче-

ской бахромой, вырисовывалась ручка малярной кисти, торчащая из ведра с краской, передвинутого к другому краю окна. Видимо, маляры проделали за день очередную часть своего дела.

«Можно посмотреть?» – спросил я, так как понял, что ничего толком не видел, кроме самого движения, кроме стремления к тому, что теперь было достигнуто. Все закончилось, я знал, что закончилось, и обогнул постамент, чтобы взглянуть на работу.

Словно что-то горячее лопнуло и разлилось у меня в мозгу, как бывает при неудачном повороте головы. Стало тоскливо и легко – словно я попал в этот свой повторяющийся с детства сон о встрече с двойником. Но я смотрел ещё – и видел уже, что это не двойник. Или двойник, но не я: он был из другой, не совсем прошедшей, но проходящей – проходящей! – полосы моего существования, оттуда, где я был только гостем и где он жил теперь своей глубокой и вечной жизнью.

* * *

Покинув мастерскую, я впервые со студенческих лет бродил всю ночь по Москве, встречаясь с зеркальными болванчиками своих отражений в витринах. Утром я снова оказался у этого дома, вылез через чердак на крышу и прориник к окну мастерской. Все было не так, как показалось накануне. Или теперь – казалось? Не двойник, не мог быть двойник, потому что совсем не из пройденного, не из прошедшего был этот крик, этот голос души, материально теперь существующей. Он звал меня издалека, из туманного от надежд будущего, и я чувствовал, что ещё многие годы придется мне прислушиваться к этому голосу. Материал осуществился, но сам я оставался ещё – материалом.

За углом мансарды шаркали кисти.

«Прихожу – он работает, ухожу – работает, даже ест стоя. И ведь на что силы тратит: не-разбери-поймешь». – «Ну, это ты зря, Палыч. Я вот тоже посмотрел. Оно, конечно, нам не понять, а вот приглядишься – и шебуршит что-то внутри». – «Во-во. Я тоже гляжу – и шебуршит. Выпить хочется».

Трёхстишие

– Придётся вам, товарищ лейтенант, поинтересоваться этим спекулянтом. – Майор перевернул тонкую папку со своего края полированного стола на противоположный. Папка аккуратно скользнула прямо в руки лейтенанту. – Слишком уж часто его упоминает наше жулье. Кличка у него обычная: Батя. Порасспросите для начала Гришку Кокона, он у нас сейчас свидетелем проходит и чуть что на Батю этого ссылается...

Гришка-Кокон держался вальяжно, как и подобает одному из боссов книжного чёрного рынка. Он был добр и снисходителен, всем своим видом намекая, что только благодаря его безграничной любезности лейтенант имеет возможность воспользоваться его временем, которое для него, в отличие от лейтенанта, деньги, причем очень даже немалые деньги. Говорить, кто такой Батя, он не хотел, но деваться ему было некуда – слишком часто он прикрывался этим именем на допросах.

– Вы, Григорий Павлович, не капризничайте, – с неиссякаемым терпением продолжал уговаривать лейтенант. Какой вам резон из-за такой мелочи осложнять с нами отношения?

Никакого резона в этом не было, и Кокон расщедрился:

– Ладно, ладно, Владислав Вениаминович, из уважения к вашей профессиональной настойчивости я подарю вам эту чудесную тайну. Приготовьтесь удивиться. Вы просто встанете от изумления. Дело в том, что вы уже знаете эту фамилию. И вовсе не из ваших милицейских протоколов, к которым я отношусь со всем уважением, а из школьного учебника литературы. Помните, когда там идет речь о ранней поэзии Маяковского – приводятся строки двух-трёх его современников, особо ретивых новаторов стиха? Вот это строчку помните?..

Григорий Павлович Кокон (да, его загадочное прозвище было всего-навсего натуральной паспортной фамилией) взмахнул ладонью, закатил глаза и нараспев произнес набор звуков, оставшихся оригинальными навсегда. Лейтенант взволновался.

– А знаете, помню! Смутно, но помню. Вы хотите сказать, что Батя – это...

И он предоставил Кокону назвать фамилию, которую вряд ли припомнил бы сам, но узнал, когда она прозвучала.

– Невероятно! Он ещё жив? Вы не...

– Нет-нет, не преувеличиваю. Он жив, хотя очень стар. У него дома целые закрома старых книг. Поезжайте, посмотрите. Будете потом доверительно относиться к моим честным и искренним показаниям.

– Ах, Григорий Павлович... – поморщился лейтенант.

Слишком уж надоело ему рыться в честных и правдивых показаниях Кокона, выбирая немногие достоверные сведения.

– Да, честным и искренним, – с наслаждением повторил Кокон. – И адрес можете записать. Совсем недалеко. Пешком можно дойти.

* * *

– Никакой он не спекулянт, товарищ майор. Живёт этот Батя одиноко. Холостяцкая классика: пыль, пакетик из-под выпитого кефира, замызганная одежда. Книжки, правда, лежат штабелями – так это ещё с двадцатых годов. Тогда всякие экзотические сборники маленькими тиражами выходили, так у него некоторые чуть ли не всем тиражом лежат – не разошлись в свое время. Сейчас любая из таких книжечек рублей двадцать-тридцать стоит, если не больше. А многие ещё с автографами, с авторской правкой. Он мне показывал. Даже Есенина автографы есть. За эти книжки спекулянты ему большие деньги предлагают, за всё сразу, а он им только по одной книжечке продает, когда денег на еду не хватает. Пенсия у него крошечная. Так что Кокон слишком много на него валит. Просто прикрытие себе придумал.

Майор слушал с тем выражением лица, которое ему самому казалось непроницаемым. Все подчиненные прекрасно знали это выражение. Оно означало: ты говори, говори, а мне известно то, о чем ты не догадываешься.

– Так-так... А о чем же вы конкретно беседовали с этим Батей? О книгах? О спекулянтах?..

Лейтенант слегка смутился.

– О японской поэзии, товарищ майор. Точнее, о трехстишиях. Но это, конечно, после того, как я узнал всё необходимое. Он разговор завел, а мне прерывать неудобно было. Оказывается, старик увлекся когда-то японской поэзией, даже язык японский выучил. Сначала переводами занимался, а потом сам стал трехстишия писать. Так до сих пор только трехстишия и пишет.

– Писал, – многозначительно произнес майор.

Лейтенант вздрогнул. Мрачный сюрприз.

– Ты позавчера у него был?

– Так точно, товарищ майор.

– Вчера его нашли мёртвым у себя в комнате. Старушка-соседка забеспокоилась, когда он не вышел, как обычно, в магазин за кефиром. Техника-смотрителя позвала. Открыли комнату. Он в кресле сидел. Наши туда ездили, следов насилия не обнаружили. Но всё-таки хорошо бы удостовериться, что всё тут чисто. Сходи, оглядись, не поубавилось ли там его антиквариата. Сам говоришь, спекулянты облизывались...

Возле дома был крошечный скверик. На одной из двух скамеек, на той, рядом с которой стояли три железных мусорных контейнера с белыми каракулями «ДЭЗ-19», сидел Гришка-Кокон. Завидев лейтенанта, он дернулся, но деваться было некуда, и он лишь привстал в знак приветствия.

– Интересно, товарищ Кокон, что вы здесь делаете? – покосился на него лейтенант. – Только не говорите, пожалуйста, что любимое ваше удовольствие – отдыхать возле мусорных ящиков.

– Здравствуйте, Владислав Вениаминович. – Кокон подошёл к лейтенанту. – Вы, наверное, подозреваете меня в совершении ужасного преступления, а я вот самоотверженно дежурю здесь, у неприятных мусорных ящиков, чтобы преступление предотвратить. Знаете ли вы, что у покойного нет наследников? Так вот, его имущество будет описано нотариусом, после чего те вещи, которые будут сочтены ценными (если такие найдутся), отошлют в комиссионный магазин, а прочее барахло отправят на выброс. Да-да. Как это ни странно, но наш многоуважаемый покойный, вошедший в школьный учебник, даже не был членом писательской организации, и некому, кроме Григория Павловича Кокона, обратить внимание на историческую ценность того бумажного мусора, который сегодня или завтра посыплется в эти неприятные ящики.

– Понятно... – протянул лейтенант, с любопытством взглянув на самоотверженного спекулянта. – А потом спаситель исторических ценностей загонит их втридорога любителям автографов. Так?

– Исторические ценности будут храниться у коллекционеров, а впоследствии переданы ими в дар государственным музеям, – уточнил Кокон. – Кстати, техник-смотритель, располагающий ключом от квартиры, находится вон в том подъезде, а ваш покорный слуга вполне может быть вторым из понятых, если товарищ лейтенант в них нуждается.

– Да уж не смею вас утруждать, Григорий Павлович, – усмехнулся лейтенант, подумав: «Как же, пусти козла в огород..».

* * *

Он сидел на том же стуле возле тёмного деревянного стола с ножками в виде львиных лап. Так же стояло напротив старое мягкое кресло, теперь пустое. На кипах книг лежала преж-

няя пыль. Он взял в руки стопку желтоватой матовой бумаги, лежавшую на краю стола возле кресла и придавленную стеклянными пресс-папье, внутри которого пламенел красный коралловый цветок.

На верхнем листке было написано:

весёлый вор влезает в окно
соскребая растопыренными пальцами
золотистый мох книжной пыли

Лейтенант забеспокоился и огляделся ещё раз по сторонам.

Комната выглядела в точности так же, как и позавчера. Что это за строки? Случайная метафора или отрешенное свидетельство о преступлении?.. Он представил себе Гришку-Кокона, влезавшего в окно, и спокойного старика, который дописал третью строчку, поставил на бумагу пресс-папье и уснул навсегда. А вор, увидев стихи, даже не удосужился их прочесть, позволив уцелеть этой поэтической улике. Пыль на книгах, действительно, похожа на мох. Только серый, а не золотистый. И не видно что-то на этом мху никаких следов...

На втором листке шли рассуждения, и лейтенант вспомнил свой разговор со стариком – точнее, его долгую речь, не всегда понятную, но увлекавшую тем глубинным вкусом, который находил старик в своем предмете. Написанное выглядело скучнее.

«Суть поэтической речи не только в звуке или в метафоре. Стихи как способ выражения – это именно стихи, разбиение словесного потока на строки. Разбиение не типографское, а ритмическое, интонационное. Поэтому и стихотворение в прозе – стихи. Но и прозу можно довести до поэтического звучания, особым образом разбив на строки».

Дальше на весь листок приходилась единственная фраза:

«Выделение строки – главный знак стихотворной пунктуации».

Потом шёл целиком исписанный листок:

«Благодаря японской поэзии, я открыл для себя малые формы стихосложения. Увы, один поэт ничего не решает. Но когда-нибудь их по-настоящему освоит русская поэзия в целом. Она присматривается к малым формам давно, хотя очень неторопливо. Афористичные или вызывающие одностишия, звонкие двустиишия, тонкие и мудрые трёхстишия, яркие миниатюры четверостиший и живопись пятистиший, уходящих к большим стихотворениям – всё это уже известно русской поэзии и всё это ещё у неё впереди.

Впрочем, моё сердце отдано трёхстишию. Не японскому хокку, не европейским терцинам, а трёхстишию русскому. Оно способно и к парадоксальному столкновению смыслов и к прозрачным мазкам недоговоренностей. Способно тонко уловить настроение, кристаллизировать мысль, вылепить фантастический образ. Раскрыть до непривычной глубины слово, наделить жизнью вспыхнувшее воспоминание, откликнуться удивительному мгновению. Все это происходит на столь малом поэтическом пространстве, что точность и емкость, ритм и музыка оказываются необходимыми условиями существования трёхстрочного мира».

На каждом из двух следующих листков было по трёхстишию.

милая бабушка Невзможность

как ласковы твои ладони
как сладки твои лакомства

«Знаков препинания нет, больших букв тоже. Всё-таки странно...». – подумал лейтенант и почувствовал, что ему хочется, чтобы старик продолжал свою чудаковатую речь, чтобы терпеливо объяснял, почему так вот и нужно... Говорил, говорил он об этом, только уже забылось...

встретить смерть
греясь у затихающего пламени
брошенных в камин черновиков

Отложив последнее трёхстишие, лейтенант грустно перелистал оставшуюся стопку чистой бумаги и бережно положил всё на стол. «Надо в литературный архив позвонить», – напомнил он себе. – «Нельзя, чтобы Кокон тут единственным хозяином остался». Лейтенант был уверен, что сюда должна срочно примчаться машина, вроде инкассаторской, и забрать всё до последней бумажки в надёжное хранилище.

Неожиданно в окно упал луч солнца, которое на своем пути по неровному городскому горизонту каким-то чудом показалось между двух высоких домов – там, где был замечен из квартиры старика небольшой столбик неба. Луч был теплый, желтый и озорной. «А вот и весёлый вор», – улыбнулся лейтенант, заметив, как широкий луч раздробился на несколько узеньких и заскользил этими растопыренным пальцами по золотящейся книжной пыли.

Мяугли

Он получил свое прозвище после того, как рассказал во дворе «Книгу джунглей».

Мяугли начал пересказывать Киплинга, сидя с двумя малышами в островерхой избушке на детской площадке. Постепенно в избушке и вокруг нее скопилась изрядная компания, объединенная громким – взахлёб – повествованием. В окошечки заглядывали, согнувшись, двое долговязых парней. Когда у них затекли спины, они торжественно вытащили Мяугли из домика и усадили его на деревянной горке. Мяугли даже не прервал рассказа, когда его перемещали.

Глядя на детей поверх «Вечёрки» со своей пенсионерской скамейки, я усмехнулся. Мяугли словно обращался с речью к Стае, собравшейся вокруг Скалы Совета. На фоне разгорающегося закатного неба его смуглое лицо и черные волосы до плеч прекрасно сочетались с его рассказом.

Одна особенность его пересказа не давала мне покоя. Когда он побежал мимо меня домой, ухитрившись довести сюжет до развязки именно к тому времени, когда детей начали уже призывать с балконов к ужину, я поманил его пальцем. Он остановился – словно застыл на бегу.

– Почему ты всё время говоришь «Мяугли»? – спросил я. – Маугли ведь был среди волков, а не среди кошек... Посмотри дома в книжку: там написано «Маугли».

Он оценивающе взглянул на меня и решил, видимо, что я заслуживаю серьезного ответа.

– Так называла его Багира, пантера, большая кошка. Она мне нравится больше всех зверей, поэтому я тоже говорю «Мяугли».

Ни тени сомнения не звучало в ответе. Я хмыкнул:

– Откуда же ты знаешь, что Багира называла его так?

– Ну, я же слышу... – мальчик пожал плечами и побежал вприпрыжку к подъезду.

* * *

Вдвоём нам было, наверное, лет под восемьдесят, но я постоянно сомневался в том, сколько приходится на каждого. Порою казалось, что поровну. А иной раз моя доля была даже поменьше. Во всяком случае, многие его слова заставляли меня крепко задуматься. Так случилось и на следующий день после первого нашего разговора.

– Здравствуй, – приветствовал я его по дороге к газетному киоску. Мяугли сидел на корточках и внимательно следил за муравьем, ползущим по пыльной земле. – Чем занимаешься?

– Живу, – ответил мальчуган, не поднимая головы.

После этого я не однажды слышал от него этот ответ, который никогда не был пустой отговоркой. Он произносил это слово веско и осознанно, как говорят о важном и неотложном деле. Но в тот раз Мяугли показался мне одиноким и грустным. Рядом на пустыре его ровесники гоняли мяч, издавая отчаянные вопли.

– А что же ты с остальными в футбол не играешь? – сочувственно спросил я, и Мяугли взглянул на меня изумлённо.

– А зачем играть в футбол? Ну зачем?..

Я автоматически произнес несколько ничего не значащих фраз о пользе спорта, но ни Мяугли, ни мне самому они не были интересны. Так я и отправился дальше к своему газетному киоску, размышляя о том, зачем, действительно, Мяугли или кому бы там ни было ещё играть в футбол.

Мяугли любил быть один. Он терпеливо и страстно приглядывался к бесчисленным подробностям природы, которые обычно не задевают нашего внимания. Он знал повадки пещерных ос, живущих в земляной дыре. Он не ленился пересчитать, сколько хвощей растёт на очередной открытой им «плантации». Он называл по имени каждый сорняк. «Это ярутка,

яруточка», – нежно говорил он. – «А это брий, мох такой, а это фунария, а это сфагнум. А это стенная золотнянка. Никогда не видел её на черемухе!..».

Он любил быть один, но одинок он не был. К нему липли все малыши в дворе, с ним любили играть девочки. Но и ровесники, и мальчишки постарше оказывались вовлеченными в завихряющуюся вокруг Мяугли жизнь. Мяугли был главным вдохновителем новых игр. По необъяснимому наитию он всегда знал, кто кем должен быть в только что возникшем мире и кто чем должен заниматься. Когда ему изредка приходилось встречаться с таким же, как он, гением игр, они даже не успевали перейти к самой игре. То поддерживая, то перебивая друг друга, они захлеб торопились развить сюжет намеченных событий, и остальные участники игры толпились вокруг, с открытыми ртами внимая тем чудесам, которые порождала радостная фантазия.

Игры Мяугли были заразительны. Его увлечения распространялись по двору, как эпидемии. Много дней летали с балконов всевозможные бумажные конструкции, начиная с обычных голубков и кончая немислимими сооружениями, которые выделяли в воздухе замысловатые пируэты. Несколько недель вся окрестная детвора, включая даже четырехлетнего карапуза в круглых очках, выпускала рукописные газеты. Потом стали возникать страны. У стран появились флаги, гербы и географические карты. Потом начался выпуск денег.

Игра в деньги меня не умиляла. Подозвав Мяугли к своей скамейке, я решил его немного повоспитывать. Кому же это делать, как не нам, пенсионерам? Он выслушал всё, что я мог ему сказать, тихо вздыхая – скорее от скуки, чем от раскаяния. Однако в конце моей нотации он оживился.

– Сегодня вы в придуманные деньги играете, – говорил я, с ужасом прислушиваясь к своей занудной интонации, – а завтра начнете в настоящие играть...

– А что, наши деньги и сейчас в настоящие пересчитываются, – встрепенулся Мяугли.

– Ну вот! – укоризненно откликнулся я. – И почему вы их друг другу продаёте?

– Сейчас скажу... Значит, сто тринадцать наших сопеек (это у меня квартира сто тринадцатая) составляют один инсектарий (по-русски можно его насекомием называть). Тысяча двадцать четыре (два в десятой степени) инсектария – это одно комодо. Триста пять комодо – гевея, семьдесят одна гевея – тьфуколка, а пятьдесят восемь тьфуколок – одна обычная копейка. Мы наши тьфуколки и прочие деньги называем инфраденгами. Знаете, как инфразвуки, – они звучат, а простым ухом не слышно...

И Мяугли испарился.

* * *

Прозвище пристало к нему не зря. Свободный дух и чёрные до плеч волосы вполне отвечали образу Маугли. А кошачье «Мяу» напоминало мне другую сказку великого романтика – сказку про кошку, которая гуляла сама по себе. Правда, котёнок-Мяугли был всего счастливее тогда, когда гулял вместе с мамой. Мама у него была худенькая, подвижная, и они бегали по окрестным зарослям, как две девочки, одетые мальчиками. Правда, это случалось не так уж часто. Обычно мама сидела дома и работала. В жаркие дни стрекотание её пишущей машинки доносилось, как с небес, сверху, с лоджии сто тринадцатой квартиры.

Мяугли был похож на Маугли не во всём: основным отличием являлись карманы. У одного из них карманов не было вовсе. Зато у другого это изобретение цивилизации достигло вершины. Или, точнее, необычайной глубины.

Карманы Мяугли в обычном смысле давно были порваны им насквозь и уходили теперь в глубинные полы пальто, которые были всегда увесисто оттопырены. Может быть, я не обратил бы на это внимания, если бы однажды не оказался свидетелем того, как Мяугли искал нужную ему вещь. Ему понадобились нитки. Он засунул руки по локоть, а потом и по плечо в свои полы-карманы и, не сумев нашарить там катушку, стал в нетерпении вытаскивать всё

подряд, складывая свой багаж в кучу на моей скамейке. Там были полиэтиленовые пакетики, черные аптекарские резинки, карандаши, блокнот, двушки для телефона и трешки для газировки, перочинный ножик (ножик был и у бескарманного Маугли), моток медной проволоки, скрепки и кнопки, маленький совок, баночка с крышкой, стальной шарик, несколько палочек и щепок, гриб-трутовик, горсть камешков, кусочек мела, бесчисленное множество бумажек, записочек и мятых листочков, бланки для прачечной... – вот то немного, что мне удалось упомянуть со своим склерозом. Ах да, и катушка ниток, которую Маугли торжественно вытащил из самого дальнего угла одного из своих суперкарманов.

* * *

А однажды появилось существо. Сейчас оно припоминается мне, как большой обмякший воздушный шар. Не очень хорошо выбритый полусдувшийся шар в шляпе. Но стараясь быть объективным, я заставляю себя вспомнить, что существо было в костюме, в очках, с портфелем – с всеми атрибутами интеллигента. Существо присело ко мне на скамейку и, бросив взгляд на статью в «Литературке», которую я усердно штудировал, заговорило со мной о техническом прогрессе. Оно говорило с аппетитом, внушительно, оно обволакивало меня своей эрудицией, начитанностью, свободным парением от одной темы к другой, но я не мог почему-то уловить ни одной из его мыслей. Неужели мой склероз и тут дал себя знать?

К подъезду подошла мама Маугли с нагруженной сумкой. Во мне что-то захолонуло от нехорошего предчувствия – и, действительно, существо приподнялось к ней навстречу.

– Тебя приходится дожидаться, – обиженным тоном произнесло оно.

– Да, трудно угадать, в какой день ты явишься через пару лет с визитом. – Мама Маугли хотела, было, поставить сумку на скамейку, но решила остаться поодаль и только подхватила ее двумя руками. – И чего ты хочешь?

– Как чего? Хочу повидаться со своим сыном.

– Да ну, не преувеличивай. Какой он тебе сын? Разве ты ему отец?

– А что, не я его отец? Почему же тогда у меня алименты отчисляют?.. Раз плачу, значит отец.

– Ладно, это всё я уже слышала. Сейчас я его гулять пошлю. Общайся, если сумеешь.

– Как, разве он дома был? Что же он мне не открыл? Я долго звонил. То-то мне показались, что к глазку подходили. Это ты запретила ему открывать, так ведь?

– Ничего я ему не запрещаю. Но и приказать, чтобы он тебе открывал, не могу. Да и не узнал он тебя. Откуда ему тебя помнить?

– Ничего себе делишки! Как это – отца не знать? Должен знать и помнить, как же так. Может быть, и приказать надо. Странно ты его воспитываешь.

– Ладно, не будем с тобой о воспитании беседовать. Сейчас он выйдет. А следующий раз, когда заявиться надумаешь, хоть предупреди заранее.

Существо снова вернулось на скамейку и обратилось ко мне за сочувствием.

– Ну разлюбили друг друга, ну развелись. Я алименты плачу. Не пойму, чем она недовольна до сих пор?..

Существо явно ожидало от меня реакции, и я спросил:

– И давно вы... э... разлюбили друг друга?..

– Да, собственно, вот как ребёнок родился, мы вскоре и развелись. Так уж получилось. И до этого у меня другая семья была, и сейчас другая. Жизнь – штука сложная. Конечно, часто выбраться не получается, занят очень. Докторскую пишу, книги научно-популярные... А может, она обижается, что я из гонораров ничего не отчисляю?..

Больше мне говорить с ним не хотелось. Вышел Маугли. Остановленный приветственным жестом, он послушно подошёл к скамейке.

– Здравствуй, здравствуй, – покровительственно зарокотало существо. – Как дела?.. Ты в каком уже классе, во втором?.. Ах, в третьем – прекрасно, прекрасно. Да ты садись.

Мяугли сел. Он не был похож ни на Маугли, ни на самого себя. Сгорбившись, он безразлично уставился в асфальт.

– А я вот решил тебя в кружок записать, в Дом пионеров. Кружок технического моделирования. Будешь там всякими моделями заниматься. Автомобили разные, корабли, танки. Там мой знакомый руководителем работает.

Мяугли молчал. Существо расстегнуло портфель, достало оттуда книгу.

– Ладно, иди поиграй, только не убегай далеко. А я пока монографию просмотрю, у меня доклад завтра...

Я сходил за «Вечеркой», выпил квасу и вернулся. Существо листало книгу. Мяугли сидел на корточках невдалеке, всматриваясь в какие-то травяные тайны, весь сжатый в комочек, словно он спиной ощущал присутствие странного существа, которое непонятно чего от него хочет...

* * *

Совершая в этот вечер свой неторопливый моцион, я снова увидел Мяугли и его маму. Они сидели на деревянном барьере песочницы, и я вспомнил тот вечер, когда впервые заметил этого мальчика. Это снова был свободный и независимый Мяугли, но теперь я вдруг увидел в нем ещё и будущего Мяугли-юношу, Мяугли-защитника. Мама уткнулась в его плечо, а Мяугли смотрел прямо перед собой, и в его задумчивых глазах мерцала расширяющаяся вселенная.

Место под солнцем

У Игоря на всё свои взгляды. Прямо не знаю, что с ним делать. Особенно трудно, что они меняются. Я очень хорошо помню, как он приучал меня звать его и маму по имени. Модно это, что ли, тогда было? Даже «папа Игорь» его не устраивало. Только Игорь да Ира. А потом, когда я совсем приучился, они развелись. Теперь ему нравится, когда я его папой называю. Или отцом, но это я не могу, это совсем по-книжному. А «папа» уж слишком по-детски. Я его так называю иногда, только если мы одни. Чтобы порадовать. А на людях... Сам приучил меня по имени обращаться.

С путешествием он, конечно, здорово придумал. Даже мама устоять не смогла, отпустила. Вряд ли он бы выбрался, если бы они не развелись. А так – пожалуйста. Я картинку из греческой мифологии помню: «Бой за тело Патрокла». Лежит этот Патрокл тихий, довольный, хоть и тело, а за него сражаются всюду. Иногда я себя ощущаю вот таким телом. Стыдно, наверное, но мне это даже приятно. И полезно: вот в Среднюю Азию с родным отцом еду. Как Игорь повторяет, в страну Фирдоуси и Улугбека.

Но у него на всё свои взгляды. И хорошо ещё, если одни и те же. Когда не меняются, то ничего, можно приспособиться. Например, насчет путешествия я наизусть уже знаю. По его представлению, я должен:

1. Восхищаться окружающими красотами.
2. Почтительно слушать его разговоры с попутчиками, когда это расширяет мой кругозор.
3. Не слушать его разговоры с попутчиками, когда они касаются взрослых тем.
4. Быть вежливым, неутомимым, непринхотливым, общительным и любознательным.
5. Вести дневник.

К пункту первому я отношусь терпимо, хотя мне интереснее люди, чем красоты. Пункт второй тоже ничего. Пункт третий, конечно, возмутителен, потому что взрослые разговоры как раз самые любопытные. Ну да ладно, можно притвориться, что с головой ушёл в восхищение красотами или в чтение. С пунктом четвертым я, в принципе, согласен. Хотя, честно говоря, мама лучше Игоря понимает, что иногда человеку хочется и покапризничать, и пожаловаться, и побыть одному. А вот пункт пятый, насчет дневника, мы с Игорем понимаем вообще по-разному.

Игорь имеет в виду, что я буду описывать в дневнике свое восхищение красотами и расширение кругозора. Я с ним с самого начала решил не спорить, только условился, что никому не буду показывать то, что пишу, даже ему. Поэтому я в дневнике могу просто разговаривать. С другими ведь разговариваешь больше для них, чем для себя. А здесь для себя. О красотах и в путеводителе достаточно написано.

Так что я валяюсь сейчас на своей любимой верхней полке и пишу, что мне в голову придет, а Игорь внизу радуется, какой я культурный. Только лучше бы ему эта тетрадка на глаза не попадалась, когда меня рядом нет. Он, конечно, человек хороший, но ему же может захотеться заглянуть во внутренний мир сына. Ему непременно покажется, что я недостаточно уважительно о нем пишу. Он у меня всё время помнит, что он разведенный отец, хотя я его люблю вполне и даже очень.

Ладно, пойду разомнусь. В тамбуре, я заметил, у одной двери стекла нет. Постою там, пока Игорь не спохватился, что меня может ветром унести. Приятно, когда окно без стекла. Когда оно – в жизнь. Чувствуешь, как едешь.

* * *

Познакомился с проводником. Его зовут Яшка. Он сам себя так называет. Он проворный, черноглазый, и с ним очень весело. Есть в нашем вагоне ещё и второй проводник, но он целый день дрыхнет у себя в проводничком купе. Или чай пьет. Ночью, Яшка говорит, тоже дрыхнет.

А вкалывает Яшка. Яшка подметает, кипятит воду, разносит чай и со всеми подряд шутит. А со мной серьезно разговаривает, хоть и весело. Взрослые редко умеют с теми, кто помладше, серьезно разговаривать. Яшка умеет. Он туркмен и живет в каком-то Лаваке, мимо которого пойдет наш поезд. Яшка там сойдет, а потом снова сядет на обратном пути. У Яшки там жена и дочка. Он по ним очень скучает. В поезде ему приходится плохо, потому что всё остальные проводники не туркмены, а их, туркменов, всего двое – он и парень через два вагона от нас. Еще у Яшки два металлических зуба, хотя он очень молодой (это он так говорит, но, по-моему, ему уже за двадцать). Зубы ему выбили в драке, когда они выпили много водки, и теперь уже сколько-то лет Яшка вообще не пьет водку и вино.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.